
Дж. БРОДЖИ БЕРКОФФ

Аспекты русской историографии XVII—начала XVIII в. в европейском контексте

В XV—XVI вв. сначала в Италии, а затем и в других европейских странах (Франции, Германии, Бельгии, Испании, Венгрии) и у западных славян (в далматинских городах-республиках, в Польше, Богемии) стали возрождаться античные формы историографии. Наиболее выразительными группами этих текстов, создаваемых преимущественно на латинском языке, являлись, с одной стороны, тематически определенные рассказы об одном событии (как правило, о военном походе под командованием одного выдающегося вождя — жанр «*Commentarium*»), с другой — «История» (*Historia, Res gestae, Annales, Chronica*) одного государства, одного племени, одного народа, одной династии. Первый тип следовал классическим примерам Юлия Цезаря или (в биографическом плане) Светония, частично даже Фукидида и Полибия. Другой тип подражал — и очень точно — прежде всего величайшему и чрезвычайно популярному произведению Тита Ливия «*Annales ab urbe condita*». Надо уточнить, что, несмотря на название *Annales* или *Chronica*, эти ренессансные произведения резко отличались от средневековых «летописей» или «хроник» как по форме, так и по содержанию.

Хотя существовали и другие типы историографии, нас интересует второе из упомянутых направлений. В нем выразились наиболее яркие черты историографии Возрождения. Изысканность формы и идеологическая направленность объединились в историографической концепции Ливия и Цицерона как «*opus oratorium*» (дело ораторское) и, более определенно, как «свет правды» (*lux veritatis*) и «учительница жизни» (*magistra vitae*). Однако история не должна была просто накапливать и интерпретировать факты, учить (*docere*), но и развлекать (*delectare*) приятным описанием, она должна была радовать читателя своими литературными качествами. Эти теоретические принципы проявились на практике в поиске сильных литературных эффектов (хотя и всегда в рамках долгих, сложных, сугубо рационально построенных предложений классической Цицероновской латыни), в любви к долгим, риторически выстроенным речам. Использованные главными деятелями истории в наиболее напряженные моменты военного или политического действия, эти литературные эффекты не были только лишь риторическим орнаментом, но передавали

идеологические принципы, лежавшие в основе самого произведения, отражавшие взгляды его автора и его заказчика. Они выражали «горизонт ожиданий» определенной публики, будь то политическая власть, гордость героя-победителя, размышления наиболее распространенных философских течений, династические права, конфликты или просто отношения государственных и церковных интересов — одним словом, основные идеологические и (в широком смысле) политические «доминанты» эпохи.

Развитие первых централизованных государств — как больших (таких, как Польша, Венгрия, Венецианская Республика или Франция), так и малых (например, Дубровник, Сплит, Фландрия или Флоренция и другие итальянские герцогства и княжества) — объясняет количество и огромное значение этого типа историографии в Европе. Как Тит Ливий прославил историю Римской империи с самого ее легендарного начала, так и «новые» народы и государства начинали прославлять свое прошлое с целью показать значение и силу их нынешнего государственного организма (причем понятие государства могло охватывать разные аспекты: сословные, династические, религиозные, культурные, этнические и т. д.). Как недавно блистательно показал А. С. Мыльников, актуализировались древние средневековые легенды, но к ним присоединялись и новые легенды и мифы, чаще всего связанные с классической историей Рима или других античных государств или империй: греческих, персидской, македонской. С точки зрения историографов Ренессанса, необходимо было показать, что франки или германцы, венгры или славяне (поляки, хорваты, жители Богемии) никоим образом не стояли «ниже», чем «старые» народы-государства. Европейская историография в этом подражала в основном примеру итальянских гуманистов Л. Бруни (L. Bruni), Пикколомини (E. S. Piccolomini), Сабеллико (M. A. Sabellico) и других, которые со своей стороны следовали примеру классиков: Тита Ливия, Светония, Плиния, Геродота, Страбона и (правда, только в отношении Германии) Тацита. Однако, если для итальянцев (как и для греков) славное прошлое Римской империи было все-таки исторической правдой, для германцев и франков — частичной правдой (хотя они и реинтерпретировали в свою пользу), то для славян описываемые ими столкновения (военные, государственные, философские, «служебные» и т. д.) с Александром Великим или с римлянами преимущественно были вымышлены: наиболее часто их историчность утверждалась просто на основе примитивных этимологических отождествлений античных и новых племен.

Здесь не место описывать приемы и топосы, доминирующие во всей историографии этого типа. Мифологемы и риторическое цicerоновское понимание истории не препятствовали появлению многих произведений высокого научного уровня. И все же часто следует с осторожностью относиться к данным, находящимся в многочисленных исторических книгах этого жанра. Эти произведения только в редких случаях сохранили действительно ценные детали из древних летописей. Они очень важны скорее как доказательство различного функционирования одной и той же схемы в различных сословных и государственных ситуациях. В действительности эти произведения достаточно строго придерживаются ренессансной схемы классического и итальянского происхож-

дения, но каждое из них перерабатывает ее для своих целей и согласно своим культурным принципам. Картина интеркультурного и интертекстуального диалога прекрасно показывает зеркальное применение общих приемов в культурных ареалах, принадлежащих к одной и той же традиции (в нашем случае — к Ренессансу), но обладающих каждый собственной спецификой и собственными идеологическими и политическими намерениями.¹

В XVII в. сломались некоторые установленные схемы и убеждения. Эпическое, героическое и риторическое понимание историографии, где господствовали военные и государственные дела, философские размышления и доминирующая личность государя или выдающегося вождя (*prinsep*), постепенно ушло на периферию историографии. Риторика Ренессанса превратилась в преувеличенное прославление величия и государственной потребности (*Ratio status*). Панегиристика заняла много места, раньше принадлежавшего историографии. В новой историографии преобладающим стал политический характер деятельности, необходимость найти равновесие между строгими религиозными правилами и «греховными» потребностями сильного централизованного государства. Модным по стилю и доминирующим по «образу мышления» стал Тацит со своим ломаным стилем, резкими цветами и сильными тенями, со своей любовью к психологическим драмам и тайным мыслям. На практическом уровне (а иногда и на теоретическом) выявилось осознание резкого разрыва между церковной и гражданской историографиями. В основном церковное и религиозное восприятие мира стало доминирующим. Отношение человека и государства к религии и церкви стало основной диалектической проблемой общественного мировоззрения и сильно воздействовало на историографию.

Католическая церковная историография была вынуждена выработать новые, более строгие методологические и познавательные принципы, чтобы противостоять вызову реформаторских и протестантских движений и чтобы доказать неоспоримую правоту абсолютной истины, которой она чувствовала себя исключительной хранительницей и которую будто бы была предназначена донести до всего человечества. Одним из наиболее влиятельных произведений стала «История церкви» (буквально «Церковная летопись» — *Annales ecclesias-*

¹ Все данные, использованные в настоящей статье, основаны на следующих основных работах (с учетом цитированной в них библиографии) Белоненко В. С. История и личность. Новые материалы для изучения творчества Святителя Димитрия Ростовского // Русь и южные славяне. Сборник статей к столетию со дня рождения В. А. Мошина (1894—1987) / Сост. и отв. ред. В. М. Загребин. СПб., 1998. С. 439—448; Brogi Bercoff G. 1) The Letopisec of Dmitrij Tuptalo, the Metropolitan of Rostov, in the Context of Western European Culture (Contributi italiani all' XI Congresso Internazionale degli Slavisti. Bratislava 1993) // Ricerche slavistiche. 39—40. 1992/93. N 1. P. 293—364; 2) Krolewstwo Slowian. Historiografia Renesansu i Baroku w krajach slowianskich. Warszawa, 1998. P. 310 (там находится нужная библиография по теме); Бродж и Беркофф Дж. «История вкратце» иеросхимонаха Спиридона: опыт исследования в контексте европейской историографии XVII века // Славяне и их соседи. Т. 6. Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время. М., 1996. С. 201—215; Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI—нач. XVIII в. СПб., 1996; Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651—1709). СПб., 1891.

tisi) кардинала Цесаря Барония, которая была переделана и переведена несколько раз на различные языки, в том числе и на русский при Петре Первом. Бароний открыто писал, что его интересует исключительно история церкви, что политических дел государств он касается только в той мере, в какой они интересны для описания дел церковных. Кроме того, он отрицал значимость мифологических повествований о древнейшем периоде в истории народов и — прежде всего — об апостольском участии в учреждении церковей (например, легенда о св. Андрее). Он совсем отказался от эlegantности и риторичности латинского языка и стиля. Своей цели, т. е. подтверждения извечного совершенства и постоянного увеличения католической церкви вопреки протестантским тезисам о ее упадке, он хотел достичь, опираясь лишь на факты, без литературной и ораторской орнаментальности. Как писал один из крупных современных католических историков Поль Азар (Paul Hazard), после Реформации Римская церковь была вынуждена уже не только констатировать свою правоту, но и доказывать ее посредством конкретных данных. Это породило совершенно новый подход к историографии. Поиск, описание, переписывание, издание очень большого количества документов и древних актов или летописей привели к появлению огромного количества томов, в которых реконструировалась история целой церкви или различных ее учреждений и региональных проявлений. Наиболее популярным собранием этого рода были, безусловно, «Жития святых» (Acta Sanctorum) болландистов, опубликованные в Антверпене. Наиболее ярким и зрелым проявлением этой католической учености было собрание актов и материалов, подготовленных Орденом св. Мавра во Франции: в конце XVII в. деятельность Мабильона (Jean Mabellion) представляет собой точку соприкосновения донаучной и научной историографий, из которых последняя развивалась в XVIII в.

Эрудированный энциклопедизм охватывал и государственную историографию. Ярким примером была «История немецких княжеств», опубликованная Лейбницем в 1686 г. Во Франции и в других странах продолжалась одновременно и традиция ораторской государственной историографии, в которой роль церкви приобрела «народный» характер, — например, в случае французского «галликанизма». В свою очередь в Польше в «Истории Бенедиктинского ордена» выявлялись шаблоны барочного сарматизма. Различные течения смешивались между собой, но в них достаточно четко удерживались традиционные формы, приемы и мысли, унаследованные от классической традиции и от Ренессанса.

Очерченная мною схема представляет собой сложную, но достаточно ясную и устойчивую структуру. Она функционировала в основном одинаково во всей Европе, хотя и приобретала оригинальные черты в отдельных регионах и в различные эпохи. В XVII в. разветвились и по-своему развивались основные течения Ренессанса. Несмотря на то что переменялись некоторые их элементы и акценты, сама структура удерживалась и представляла собой общий корпус западной традиции. Надо сказать, что эта традиция частично коснулась украинских земель, где в конце XVII и в первой половине XVIII в. появились попытки приспособить отдельные мысли и приемы западной историографии к традици-

онному материалу летописания. На границах России, наоборот, возрожденческая и барочная структура, о которой шла речь, — остановилась. В конце XVI и в XVII в. русская историография претерпевала многочисленные изменения, но войти в систему европейской историографии она не смогла. Отдельные мифы (например, об Августе) и тексты (переводы Бельского и Стрыйковского, потом Барония) проникали, но Ренессанс и барокко как система не охватили Россию. Не является случайным то, что переведены были Бельский — наиболее близкий средневековой летописной традиции «от сотворения мира» и Стрыйковский — наиболее «фантастический» и близкий восточнославянскому миру. Из Барония до 1722 г. перевели только фрагменты — то, что было идеологически «выгодно». Собственно говоря, в России до 10-х гг. XVIII в. в историографии не было ни Ренессанса, ни барокко. Наоборот, когда при Петре формировалась сильная Российская империя после побед над шведами, Рагузинский авантюрист перевел (и ему удалось напечатать) «Королевство славян» Мавра Орбиния (Mauro Orbini). Славянский пафос этого произведения был направлен на прославление древности, силы и славы всех славян вообще и каждого народа славянского мира отдельно, на прославление королей и герцогов, солдат и воевод, славянских амазонок и славянских победителей древних македонцев и древних римлян: это была идеальная картина, предназначенная для новой могущественной империи. Итак, Российская империя воспользовалась теми же самыми приемами, которыми в XVI в. пользовались западные короли и ведущие сословия народов, чтобы укрепить свои государства и свою политическую власть. В этом смысле «Королевство славян» Орбиния как зрелый плод далматско-итальянского Ренессанса «функционировало» в России в последние петровские времена точно таким же образом, каким и на Западе в эпоху Ренессанса.

Существует еще одно важное произведение, которое, к сожалению, совсем не изучено с точки зрения его положения в рамках европейской историографии барокко. Имею в виду «Созерцание краткое», авторство которого не вполне бесспорно установлено. Не исключаю, что это сочинение могло бы быть определено как «Commentarium», жанр античного происхождения, так обильно и блистательно представленный в западном и в польском Ренессансе и барокко. Эта проблема, однако, нуждается в тщательном изучении. Она могла бы опровергнуть мое предыдущее утверждение, что в XVII в. в России не было возрожденческой историографии! «Созерцание краткое», возможно, представляет именно такое направление в России: к сожалению, пока нет возможности это утверждать.

Можно задать вопрос, где же в моей схеме следует разместить известный «Летописец» Димитрия Туптало, митрополита Ростовского.² Автор отде-

² Подход В. С. Белоненко, который оценивает «Диариуш» как историческое произведение, на мой взгляд, не оправдывается. Как мы увидим далее, у Димитрия Ростовского было четкое знание теоретических правил историографии и ее западной традиции: другое дело, что он эти правила сознательно и намеренно нарушал, о чем будет речь далее. Он, однако, без сомнений, равным образом точно знал, что «Диариуш» — это не историографическое произведение, даже если в нем находятся

лил священную историю от гражданской как в теории, так и на практике. В известном письме своему давнему другу Стефану Яворскому он писал: «Не премину <...> о монархиях <...> упомянуть, но не по тем временям разположил я <...> сочинение мое, ибо ne intendo быть profanarum historiарum писатель ad mentem politicorum, absit a me hoc: не архиерейское то дело. Мирские люди могут в том трудиться <...> Мне же предлежат духовная».

Повествование он разделил, как известно, по столетиям и по тысячелетиям: в этом он, скорее всего, следовал примеру Барония, и в этом состоит наиболее глубокое отличие от средневековых летописей. Ни одного столетия он не оставил «пустым», как это случалось с годами летописей. Когда он не находил фактов для определенного времени, он заполнял место нравоучительными наблюдениями.

В отличие от Барония, однако, его «Летописец» начинается от сотворения мира, по библейскому рассказу. В этом он следовал, скорее всего, примеру протестантской историографии немецкого Ренессанса. Возможно, однако, что оказала свое влияние и традиция русских хронографов. К сожалению, «Летописец» не окончен, но мы знаем, что Туптало намеревался писать священную историю только до начала христианства, так что развитием отдельных государств (Франции, Германии, Польши, России и т. д.) он не интересовался. В отличие от немецкой историографии, он, вероятно, не хотел излагать историю одного народа и одного государства как хранителя единственно правильной веры (как это сделали, например, немецкие протестанты, или католики-французы, или православный автор «Синописа»). Нельзя сказать, что Туптало отвергал существование гражданской истории: он писал, что это допустимо, но занятие ею — не «архиерейское дело». Он сослался именно на автора «Синописа Печерского» как на пример государственной истории такого рода.

Историография и ученая модель культуры католической контрреформации оказывали сильное влияние на методологические принципы и на общую структуру «Летописца». Важным приемом является также постоянное цитирование восточных отцов церкви вместе с западными авторитетами, как патристически, так и историографически. Это было обычной методологией западной историографии, а также философской и полемической литературы начиная со второй половины XVI в. К сожалению, здесь нет возможности подробно анализировать «Летописец»: рассмотреть, как он устроен, описать его разделы, уточнить, из каких западных авторов и произведений он заимствовал свои сюжеты, комментарии к библейскому тексту, рассуждения и другие материалы. Можно, однако, констатировать, что «Летописец» в основном вписывается в главное и актуальное для того времени течение западной ученой историографии и эрудиции конца XVI—XVII вв. Одним словом, он представляет собой

некоторые материалы, переписываемые для приготовления историографического предприятия. Несмотря на факт, что он может быть полезным для исторических исследований, «Диариуш» принадлежит не историческому, а другому литературному жанру, которого митрополит Ростовский, кстати, также придерживается очень условно — лучше всего, быть может, «Диариуш» определяется как «Notata y fragmenta», если пользоваться выражением самого Димитрия!

восточнославянский вариант общепринятых шаблонов западной учености эпохи барокко.

В рамках настоящей статьи нет также возможности остановиться и на идеологических различиях. Скажу лишь, что Туптало и барочная православная культура вообще принимали западные приемы, принципы изложения и аргументации, как правило, зеркальным образом: они опровергали западную идеологию теми же самыми средствами, какими пользовались на Западе, но в идеологически противоположном направлении. Есть и другие различия, которые бросаются в глаза. Нет сомнения, например, что Туптало писал не историю церкви как сильного, централизованного учреждения, как это делал Бароний, но историю церкви как «собора верующих», как универсальной «кафолической» (в византийском значении) веры. Он писал историю развития человеческого рода как «рода божественного», историю литургии, историю «божественного провидения». Он писал не только против раскольников, он хотел написать историю мистического пути человечества к спасению через вселенскую церковь. В его сочинении отражается целая философия православной церкви как церкви, отличной от католической.

Но вернемся к более конкретным явлениям. Бросается в глаза фундаментальное отличие «Летописца» от сочинения Барония как в стиле, так и в содержании. У Барония стиль строгий, безыскусный, антириторический: он пишет так, как предписывала аристотелевская норма для «научной» прозы; у Туптало преобладают долгие барочные, вычурные описания, полные движения, пафоса, света и тени. Это не являлось чистым увлечением голословным барокко, это отвечало фундаментальному принципу риторики, содержащемуся в простом вопросе: «К кому ты обращаешься, для кого пишешь?». Туптало писал не для ученой публики, знающей античную и возрожденческую культуру и философию. Он писал даже не для украинских монахов и архиереев — среды, из которой он сам вышел и которая была более близка западной ученой традиции. Как он сам сообщил в письме Стефану Яворскому, он писал для бедных, незнающих пастырей российской провинции. Он намеревался, например, разъяснить, что Авраам и Исаак жили прежде Христа. Более того, он хотел их научить пользоваться историческими фактами как «*exemplis*» для выяснения фундаментальных нравственных правил, богословских начал, литургических актов. Ведь история для Туптало — это последовательность фактов, которые надо интерпретировать на трех уровнях: реальном (собственно историческом), нравственном и духовном (*ad litteram, allegorice vel tropologice, spiritualiter*). Сам митрополит Ростовский писал в «Предисловии»: «... между деяниями <...> иная различная по прилучаю, ово толковательная, ово рассмотрительная, ово правоучительная духовная беседования».

Главной целью такой интерпретации истории было приготовление понятных и выразительных проповедей для обучения и душевного кормления православных душ. Для достижения этой цели главным источником «Летописца» стало огромное сочинение фламандского иезуита Корнелия а Лапиде (*Cornelius van der Steen, Cornelius a Lapide*). Факт этот — известный, доказанный еще И. А. Шляпкиным. Однако чтобы глубже понять его значение, нужно вписать

его в рамки необыкновенных интеркультурных отношений России с Западом. «Летописец» не только сменил литературный жанр: он как бы соединил разные жанры и создал новую литературную единицу. «Летописец» является не просто историей, но и «комментарием к Библии» («*Commentarium*»); одновременно это и не только «комментарий», «толкование», но также «справочник» для создания и оформления проповеди. Вместе с тем «Летописец» является и руководством по обучению основным принципам диалектики, логической философии и неосхоластической учености, а кроме того — справочником для выяснения основных положений православного учения против еретиков, атеистов и врагов церкви, ведь он — и полемическое сочинение. Если вернуться к Цицероновской теории историографии, «Летописец» можно определить как гипертрофирование принципа «*magistra vitae*», т. е. принципа, акцентирующего дидактическое предназначение истории. Цицероновское понимание истории как «учительницы жизни» получило распространение в основном в ренессансную эпоху, наравне с понятием «свет правды». Первое понятие, однако, приобрело доминирующую функцию и стало типическим явлением имеющей сугубо дидактический характер эпохи барокко.

Необходимо подчеркнуть, что такой смешанный характер «Летописца» не является следствием грубости или невежества его автора: он, напротив, совершенно сознательно выбрал такой путь. В письме к Стефану Яворскому 1707 г. Димитрий писал: «Мню же мало кому понравится тоя моя *lucubratiа*, понеже в нем, как в сбитню руском, мешанина: и история, и будто толкованице из Корнелия <...> и инде нравоучение <...> Вем же в книгописательстве *aliud historicum esse, aliud interpretem, aliud нравоучителем*. Однако же я грешный все *to zmagtwal jak grach z kapustou*, желая иметь книжицу оную *jako notata i fragmenta*, же было то что часом для казания».

Надо сказать, что вышел «*grach z kapustou*» нелегкий, но чрезвычайно вкусный! Митрополит Ростовский был человеком высокой культуры, гибкого чувства прекрасного и глубокого человеческого сочувствия, не лишенный при этом чувства тонкой иронии.

Возникает важнейшая проблема. Как определить произведение митрополита Ростовского с точки зрения оригинальности или подражательности? Понятия эти, конечно, совершенно условные и даже несколько сомнительные. Однако, вопреки всяческим упрекам, оговоркам и оправданным сомнениям относительно так называемой инфлюссологии,³ в нашем случае вопрос о влияниях чрезвычайно важен.

В действительности, как мы видели, «Летописец» достаточно точно соответствует некоторым основным жанровым и интеллектуальным категориям западной ученой прозы аристотелевского направления. Сравнив не только отдельные страницы, но почти все сочинение Димитрия с текстами его источников — как восточных, так и западных, я убедилась, что митрополит Ростовский не

³ Термин, означающий простое регистрирование влияния одного произведения на другое, без интерпретации этого факта и его функционального значения.

подражал, а фактически просто копировал произведения других авторов. Его собственное участие состояло в основном в том, что он связывал один фрагмент текста с другим. Исключения относительно редки.

И все-таки «Летописец» — одно из наиболее оригинальных произведений восточнославянского барокко. В основном это «коллаж» из различных фрагментов других текстов. Однако манера монтирования этого «коллажа» так удалась, что сочинение Дмитрия Туптало можно определить как одно из первых оригинальных произведений новой русской литературы — литературы, в которой все заимствовано, но при этом так оригинально, что не удастся уложить ни в какие заранее установленные рамки. В этом, по-моему, и состоит не только ценность «Летописца» Дмитрия Ростовского, но и величие русской литературы нового времени вообще, ее гениальность. Нам, людям западного мира, она кажется «семейной», «узнаваемой». Но когда всматриваешься ближе, она оказывается незнакомкой: обнаруживаются ее оригинальность и очарование. На мой взгляд, предстоит разыскать еще много таких интертекстуальных и интеркультурных явлений, прежде чем мы будем в состоянии понимать глубокие пласты и русской, и западной культур.